

Игорь ПАЛАШОВ

Родился в 1971 году в Горьком. Окончил Нижегородский технический университет. В 1990-х работал режиссером на региональном телевидении. В начале 2000-х был главным редактором окружного информационного агентства «Интерфакс-Поволжье». Затем – заместителем директора Нижегородского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», начальником управления АО «Росэлектроника». В настоящее время развивает ремесленные проекты.

Живет в Нижнем Новгороде.

УЛИССА

– Кто это?

Улисса с лампой в руке, зажимая у шеи концы пухового платка, наброшенного на плечи, осторожно подошла к двери и, склонившись к ней, прислушалась; взметнувшееся сердце заполнило всю грудь и стучало в горле.

– Это я, – неожиданно близко, хриплым шепотом проговорил снаружи знакомый голос, – Федор.

Она вздрогнула, торопливо отставила лампу на приставной столик, но в темноте попала ею на связку ключей, чуть было не уронила, дрогнувшей рукой надежно уставила наконечник и отперла внутреннюю дверь – навстречу метнулся сквозняк, – похолодевшими пальцами принялась за входную. Улиссе казалось, что каждый металлический щелчок замка отзывается грохотом во всей громадине дома. Торопилась и морщилась. Наконец, с силой рванула амбарный крюк, недавно вбитый в стену для пущей защиты от взлома, и тяжелая дверь со скрипом отворилась – в проеме показалось темное лицо, укрытое складками башлыка. Улисса отпрянула, лицо надвинулось – неровная на впалых щеках щетина, блестящий козырек фуражки, настороженный взгляд голубых глаз. Это он, но словно чужой.

Быстро, боком проскользнул внутрь, задев дверной косяк чем-то жестким в своем мешке, не глядя приставил его к стене и, выглянув обратно на лестницу, прислушался. Улисса едва признавала Федора в мешковатом пальто с ржавыми подтеками на спине. В полутемном парадном – этажом ниже горит одинокая лампа, и ее тусклый свет восходит меж лестничных маршей масляной косой фигурой – было тихо, лишь морозная февральская ночь отзывалась снаружи неясным гулом. Федор запер за собой двери и, повернувшись к Улиссе, выдохнул.

– Здравствуй.

– Как ты здесь? Что случилось? – шепотом воскликнула она.

Смотрела на него широко открытыми глазами, быстро оглядывая и лицо, и всю фигуру. Улисса тянулась к нему, но ежилась принесенным холодом и резким запахом старой грязной чужой одежды.

Федор размотал башлык, снял нелепую фуражку железнодорожного инженера, широкими движениями крепко потер стриженную голову и лицо, словно очухивался от забытья и посмотрел на нее устало, но строго.

– Мы должны срочно уезжать. До рассвета нужно покинуть город, – вместо ответа сказал он.

Улисса не признавала еще ни его самого, ни слова его чем-то реальным. Она осознавала, что именно происходит сейчас, остро чувствовала всякий звук и всякое движение, но словно бы во сне, словно все это не имело к ней отношения. И даже саму себя ощущала сторонне.

– Как уезжать? Куда? – она не была уверена, что действительно проговаривает всю череду вопросов («Почему? Зачем? Что происходит?»), которую он вызвал в ней своим заявлением, внезапно появившись посреди ночи. Страх неизвестности охватил ее сердце. Она едва справлялась с волнением, внутренне съежилась в платке и замерла.

– В Озерках нас встретят. Оттуда в Финляндию. Оттуда через Берлин в Париж, как собирались. Всё.

Федор снял толстое пальто, сверкнув протертой подмышками подкладкой, скинул валенки, обутые в калоши, – стоит перед ней в знакомом уже костюме и вязаных носках.

– Проходи.

Она взяла лампу и повела его в комнату. Федор уселся к круглому под низким абажуром столу, приложил руки к самовару, но тут же отдернул – тот был горяч и пыхал невидимым в полутьме паром. Огляделся, пока Улисса наливала чай, – здесь тихо и знакомо, здесь безопасно.

– Я попал в переplet, меня ищут, едва ноги унес из Нижнего, – говорил Федор отрывисто, словно читал телеграмму, нервно прихлопывая ладонью по скатерти из неокрашенной рогожки, – так вышло, что застрелил жандарма.

Сердце толкнулось, смутилось пространство вокруг.

– Как?! – Улисса на мгновение застыла с чашкой в руке – Ужас какой! – вскинула на него взгляд, в котором сквозь удивление проросло отчаяние; брови скривились приступом тупой опостылевшей боли. Она заметила в нем вопросительное удивление, словно он и сам не верил в то, что произошло, видела растерянность человека, который вдруг обнаружил на своей одежде кровь и не знает, откуда она взялась – а вот и на руках, и даже следы его ног кровавы. Но Федор быстро отвел взгляд и нервно сглотнул.

– Господи! Как же так?

Каждая фраза Улиussy была похожа на выкрик, на который ей не хватало сил, и каждая следующая звучала тише предыдущей.

– Глупо. Уходил вечером из рабочих бараков, а тут он засвистел. Отпустил бы, конечно, но я выстрелил на нервах, – Федор, избегая смотреть на нее, снова тер руками лицо. – Потом только сообразил. Не могу забыть, как он рухнул на подломившихся ногах. Откуда только взялся на беду...

Улисса подала ему чай, опершись свободной рукой на стол, слабая спиной. Качала головой, словно не верила. Ей уже не было страшно, страх – это предчувствие, а теперь уж все свершилось. Она падала, и отчаяние принимало ее. Она хотела уснуть и уж не просыпаться более. «Что следует за отчаянием? – Улисса словно видела себя

со стороны. – Как же бывает после, что может быть дальше?» – словно все это происходило с кем-то другим.

– Я бы перекусил. Водка есть?

Она достала хлеб, ветчину и сыр, поставила графинчик водки, стопку, тарелку с квашеной капустой, придвинула от самовара менажницу с печеньем. Села и словно обмякла, вытянула на столе руки.

– Ужас какой, Федор... – повторила уж с бабьим подвыванием; ее губы дрожали.

Качала склоненной головой, словно пыталась что-то стряхнуть, пряча лицо за длинной челкой каре. Затем резко расстегнула ворот суконного платья, посмотрела на него измученными глазами:

– Когда же это все кончится...

– Не время сейчас, Уля, – Федор задержал на ней взгляд, кусая губы, опрокинул стопку и сунул в рот кусок ветчины. – Собирайся. Поскорее, пожалуйста, собирайся. Ничего лишнего не бери. Паспорт, ценные вещи, смену одежды. Переберемся через границу – все устроится.

Она молчала. Он быстро ел, прихватывая мокрую капусту щепотью; его губы, окруженные короткими колючими волосками, его маленький по-бульдожьей втиснутый в челюсть подбородок неприятно залоснились.

– Уля, ты слышишь меня? Времени нет, извини, собирайся сейчас. Немедленно!

– Я не могу, – проговорила она, омертвев лицом.

– Ну брось, пожалуйста.

Федор поднял было левую руку, но устало уронил ее на стол, откинулся на спинку стула. Он почти усмехнулся, предвидя, но не желая слышать ее возражение, оттого лишь еще более раздражающее его, что он и сам считал все происходящее совершенно нелепым и невозможным. Он не чувствовал в себе ни права, ни сил на то, чтобы убеждать и уговаривать ее. Лишь надеялся, что она сама примет то единственное, а потому неизбежное решение, оставшееся для них обоих.

– Я понимаю, очень тяжело и сложно, но так надо. Слышишь, милая, что же делать теперь? Уля, посмотри на меня, – Федор коснулся ее руки, она подняла на него бесцветный взгляд. – У тебя же все готово к отъезду, правда? Оставшиеся дела просто брось, все брось. Ну что меняется от того, что мы уедем не в марте, как планировали, а сейчас?! Вот этой самой ночью. Сейчас, Уля, пожалуйста!

Федор умолял, пытаясь вырвать ее из той защитной холодности, в которую она впадала все чаще последнее время.

– Ну что с тобой, родная? Просто забудь про этот месяц, скомкай, вырви, как лист календаря, и выбрось. Представь, что именно сегодня мы и собирались уезжать. Я все устроил, не беспокойся ни о чем. Уедем и никогда больше не вернемся.

Улисса смотрела на него и понимала, что он и сам не верит в возможность того, о чем просит. Что в своем бегстве он зашел к ней только потому, что не мог не зайти из чувства искренней, она знала, любви. Даже пусть и из чувства долга – чем же оно плохо. Но обстоятельства его исхода были настолько всемогущи и неумолимы, что он не мог к ней именно прийти, лишь намереваясь походя прихватить ее с собой. Эти обстоятельства, ломая его, корежили и их, меняя отныне все между ними.

Улисса слушала Федора, узнавая в нем интонацию формальной показной уверенности, дежурные фразы, которыми не столько уговариваешь, убеждаешь, сколько пытаешься справиться с собственным смятением. Улисса понимала, что не будь этих словесных заготовок, сейчас,

когда судьба проявилась со всей безучастной и уже потому безжалостной определенностью, Федор вовсе не знал бы что сказать. И возможно даже, молча просил бы его отпустить, списать ему любовный долг. Улисса видела по его глазам, что он еще не представляет, как уйти одному, оставив ее здесь, но не представляет и того, как они могут уйти вместе. Она должна была решить за них обоих.

– Дело не в том, – проговорила Улисса, отвлеченно разглаживая ладонью скатерть, словно отодвигая в сторону рассыпанные Федором пустотелые дежурные фразы, – я очень устала, последний год вымотал меня, – длинная, ниже подбородка прядь челки скрывала ее склоненное лицо. – Я не могу ничего сообразить... Все бессмысленно.

Как же быть? Возможно, что и она должна исполнить свой долг и сейчас пойти с ним уже потому только, что он просит об этом и нуждается в ней. Ведь вот он, здесь, ночью, в чужой одежде, с риском немедленного ареста, – ведь он не бросил ее. Даже в минуту крайней опасности для собственной физической жизни он подтверждает мужское намерение прожить эту единственную свою жизнь вместе с ней. А быть может, и для нее самой никакого иного пути уже нет. Но эхо далекого выстрела словно оборвало что-то, последнюю, уже и без того истлевающую нить в пучке связывающих их нравственных пут. Улисса отчетливо поняла, что хочет просто покоя. Если она сейчас и понимала хоть что-то, то понимала только это.

– Уезжай, – прошептала она. – Один.

Федор расслышал, но хотел переспросить, преодолевая жар, вдруг кинувшийся в лицо от ее хлестких слов. Но Улисса посмотрела ему в глаза и твердо выговорила:

– Я не могу.

Он зажмурился, как от боли, прикусил губу, сильнее и сильнее – до крови. Потом открыл глаза – в них просочились слезы.

– Хорошо. Но ты приедешь позже?

«Вот и всё», – подумала Улисса.

Если и могла Улисса вспомнить времена неподдельного чистого счастья, такого, чтобы не всполохом – едва заметишь его в себе, сразу предчувствуешь и не сомневаешься, как скоро он погаснет, и оттого лишь ярче и истеричнее радость любования; хочется предпринимать самые разнообразные ухищрения, чтобы разжигать эти всполохи вновь, – но счастья, наполняющего до краев, безусловно и постоянно, словно оно и есть производимая сердцем сущность, то вспоминала она лишь самое бесхитростное безобидное свое детство. В котором «я» было свежо и беспамятно, а мир вокруг бестревожен и во всех своих неисчислимых измерениях увлекателен. Он изгибался в ее глазах, преодолевая любые прямые, нависал сверху, игриво клонился набок, дыбился из-под ног навстречу или за спиной опадал бездною, настырно нарушая симметрию, курчавился и двоился гранями. В те времена открывающийся для маленькой Улиussy мир в каждой точке своих пространств и в каждую минуту своего бытования насыщал ее юную душу, еще чистую от какого бы то ни было долга, беспримесным восторгом.

А вся последующая жизнь Улиussy наполнилась досадными недоразумениями и несуразностями, которые оставляли в ней кислый привкус нелепости происходящего и недовольства собой. Их можно было преодолевать и исправлять лишь новыми несуразностями на пути все новых недоразумений.

Улисса, как только осознала свою непосредственную связь с окружающим миром, как только услышала его призыв отвлечься от очарованного созерцания и начать действовать под долговые расписки, словно вдохнула спору неведомого гриба, и та проросла в ней непреходящим чувством неравномерности, несоразмерности, несправедливости и несоответствия. Сами по себе люди, предметы и явления, каждая единица бесконечного их множества, бывали и разумны, и рациональны, и красивы. Но будучи помещенной в конкретную среду или процесс всякая из этих единиц неизменно и без исключения оказывалась неуместной – чрезмерной или до смешного недостаточной. И всякий раз обостренная натура Улииссы немедленно отзывалась на проявляющийся недостаток.

Она с жесткой прямоотой заявляла о своем разочарованном сожалении в отношении любой ущербности и всякого изъяна. И могла бы показаться высокомерной, если бы не деятельное участие, которое принимала в их устранении, если бы ее сожаление не оборачивалось искренней жалостью.

То был педагогический прием ее матери – не выговаривать дочери, но выказывать свое отношение к ее глупому или дурному поступку молчанием разочарования, которое оказывалось красноречивее любых слов. И Улисса усвоила этот прием в своих строгих отношениях и с людьми, и с предметами – ничего, даже и безнадежно ущербного, не выбрасывала из своей жизни, и действительно умудряясь многое приспособлять к ней заново. Это санитарное правило Улииссы исповедовала долгое время, пока не заметила, как много вокруг непогашенных, заведомо не погашаемых, а порой и вовсе фальшивых векселей.

Тогда она еще не смогла бы сформулировать, но уже чувствовала, что гармония колдовского в своей асимметрии мира пребывала лишь в сознании бестелесного высшего существа. Которое если и существует, то пребывает во сне. И меж ушей его бесприютно дрейфуют облака.

Матушка Улииссы была из торговой средней руки семьи Митрофановых и некоторые черты аристократизма восприняла лишь за книжками, а еще более – в раннюю пору замужества, наблюдая манеры и впитывая атмосферу семьи своего супруга Григория Палова. Старинный его род, окрепший при первых Романовых (матушка любила упоминать, что некогда их фамилия была несколько длиннее – Паловичи, Паловские или Паловойские, по разным представлениям), давно уж исхудал, остался вовсе без земли и вторым уже поколением подвизался на гражданской службе, но честь и, сколь хватало сил, традиции дворянские чтит.

Молодую жену, воспитанную в суматохе гостеприимного многочисленного семейства, в котором было принято и радость, и печаль переживать одинаково нескромной суетой, в мужнином доме особенно поразила размеренная сдержанность и невозмутимое, чуть отстраненное дружелюбие каждого его обитателя. И свекровь, и свекр, и муж ее, и его брат подчиняли свою жизнь закону равномерности и ничему, никаким обстоятельствам не позволяли нарушить установленный раз и с тех пор со всей жесткостью соблюдаемый холодный порядок. Все вместе и каждый из них в отдельности в равной степени не позволяли себе ни излишней радости, ни чрезмерной печали и словно бы следили друг за другом, чтоб священный запрет не был нарушен, словно друг с другом соревновались в строгости соблюдения этого запрета.

Оттого матушке Улииссы казалось, что «все эти Паловы, сколько их ни есть, живут будто для того только, чтобы не дай бог кого-нибудь не коснуться». Но разместившись с пестрыми тюками своего купеческо-

го приданого в новом доме, она невольно и с покорной готовностью жены, с упрямым упорством даже пыталась воспринять установленный здесь порядок. И надо сказать, довольно много преуспела в этом – к рождению детей и сама уж обрела паловскую статью и выдержку, изготовилась дать им надлежащее традиционное воспитание. А если и позволяла себе нечто митрофановское, то, как говорила, лишь «по праздникам души моей широкой» или с тем, чтобы «охолонуть мужа», буде он заставит ее волноваться своим поздним возвращением или покажется ей неласковым. Добрая по натуре, искренняя и открытая хохотушка – бывало так щедро зацеловывала детей, что им приходилось обтирать ладошками следы ее влажных губ, так неудержимо тискала их, обхватывая полными сильными руками и прижимая к пышущей жаром мягкой груди, что они заходились веселым смехом, – она умела бывать удивительно строгой матерью. Никому из детей, даже младшим, она не позволяла жаловаться и просить о чем-либо раньше, чем не смогут справиться сами.

Улисса знала, как все устроено в родительском доме, сызмальства чувствовала в матушке авторитетное влияние и непоколебимое присутствие отца, замечала даже, как менялся ее взгляд, когда из Митрофановой та превращалась в Палову или обратно, и оттого лишь больше была довольна своей похожестью на отца, внутренним, да и внешним сходством с ним. Улисса беззаветно любила маму, но единожды ощутив в себе снисхождение к ее заполошной, безудержной и безвольной, до всегдашних слез чувственности, уже не могла избавиться от этого чувства. Позднее Улисса определила его снисхождением к женскости как таковой. Она стала замечать за собой даже отцовскую улыбку, теплую, отчасти жалостливую, но все же лукавую, его жест рукой, когда он выговаривал своим тихим грудным голосом «Ах, душа моя...», добавляя «...брось, пустое» или «...все бы тебе...» в зависимости от того, сокрушалась жена о чем-то, плакала ли или, напротив, звонко разительно смеялась, показывая здоровые крупные зубы и прижимая розовую ладонь к груди. Выговаривал и отстранялся, старался отойти и вовсе уходил в свой крошечный кабинет, к немецкому медному глобусу, заросшему патиной, и альбомам с гравюрами.

Однажды, когда Улисса девочкой застала отца за просмотром мрачных монохромных картинок, отпечатанных на огромных, как ей тогда казалось, тяжелых листах плотной бумаги, он рассказал ей о процессе создания гравюр – выполнение эскиза, перенос его на доску, вырезание на ней штрихов и линий разной глубины, крепление доски на тигеле, нанесение валиком краски и печать, печать, печать. Улисса буквально услышала в отцовских словах тот липкий звук, с которым бумажный лист отслаивается с доски – и открывается рисунок, освобождается влажно-сладковатый запах чернил. Так Улисса начала рисовать.

Ей не брали домашнего учителя – в один год пришлось отправлять старшего сына в университет и выдавать старшую дочь замуж, – но отец выхлопотал ей место с дневным посещением в Мариинском институте, рассудив, что так будет правильно и для образования Улиussy и для обретения ею навыков приличествующего обхождения со сверстниками. Семья Паловых жила в небольшом доме на Жуковской, в двух шагах от Сенной площади и близость с базаром давала себя знать – никто из детей, включая девочек, не избежал контактов с хамоватой дворовой шпаной, которая кружила вокруг, а порой подобно разливающимся талым водам проникала и в палисад. Жандармы, как ни старались,

не могли совершенно обезопасить двор почтового чиновника в таком грубом соседстве, и время от времени сын приходил в ссадинах и синяках, а раскрасневшиеся стыдом девочки заливались слезами. Матушка принималась успокаивать, чинить порванную одежду, а затем в очередной раз выговаривала мужу, мол, надо же что-то делать. Сама встречала детей на улице, просила дворника последить, соседей, тех, что попримечнее, привлекала, а бывало, не сдерживалась и, заприметив в окно болтающихся подле дома шалопаев, выбегала и гоняла их тряпкой, чем только больше раззадоривала.

Отец же оставался невозмутим, он лишь строго следил за тем, чтобы влияние улицы не проникало в дом и не сказывалось на повадках детей. Искоренял любое заимствование бранных и грубых слов, нагловатой ухмылки, походки с ленцой и отвратительной манеры растягивать слова. Утром, уходя на службу, он имел обыкновение с минуту постоять на крыльце, затем надевал фуражку, не торопясь выправлял ее на голове и, прихватив трость, как палку, несколько раз ударял ею о левую ладонь, словно говорил «так-так, посмотрим, что тут такое...». Ничто не влияло на это его обыкновение – ни проливной дождь (тогда вместо трости был зонт), ни мороз, – каждое утро он повторял свой неторопливый ритуал и говорил детям, что достоинство – лучшие и оружие, и защита.

Улисса же, как только вырвалась из-под опеки няни и принялась обустройства в пространстве двора свой собственный мир, восприняла враждебное его окружение не столько опасностью, сколько вызовом. Она, подобно маленькой, но отважной собачке, наградила себя долгом оберегать дом и всех домочадцев – не только старшую сестру, но и старшего брата – и внутренне возгордилась тем. Наловчилась лазить через забор, особым движением подбирая подол платья и перенося его на ту сторону, чтоб не путался в ногах, свистеть в два пальца, далеко и метко бросать комья земли или мелкие камушки, хоть и заноса руку по-девичьи за голову и задирая локоть. Если при ней базарные хулиганы обижали младших соседских детей или затевали шумную потасовку, она смело выкрикивала им из-за забора или забравшись на старую черемуху, а однажды даже выскочила на улицу со здоровенной палкой в маленькой руке.

Матушка охала, сердилась, но и опротестовать толком не могла поведение дочери, которое ведь не озорством вызвано, но продиктовано соображениями защиты достоинства слабых и униженных. Так и говорила маленькая Улисса – «продиктовано соображениями», когда родители принимались увещевать ее, что негоже барышне так себя вести. «Разве не этому ты учила меня, мама? Папа, а?» – развивала Улисса свой дискуссионный успех, подбирая, как ей казалось, самые хитрые аргументы и с удовольствием замечая в ответ ухмылку отца. «Вот, полюбуйся, – говорила матушка, обращаясь к нему, – пацанку вырастили!». Тогда ее и определили в Мариинский институт.

В институте женскость обступила УлиССу со всех сторон, и первое время она только и делала, что фыркала на всех и по любому поводу. Все эти кружева и ленты, сумочки и туфельки, нежные восклицания, особые взгляды всегда не прямо, трепетно выставленные пальчики и придыхания! Особенно раздражали УлиССу манера сокурсниц сбиваться щебечущими стайками у зеркал и их буквально самсонова любовь к своим волосам – ей, как мальчишке, хотелось дергать их за косы. А еще учителя, эти закованные долгом, ни к чему уж не стремящиеся стареющие девы с их внезапным карканьем над самым ухом – «держи

спину», «не бегай». Улиссе понадобилось привлечь все терпение и выдержку, на какие только была способна, и силу воли, чтобы продержаться в институте первое время привыкания. «Ох, как тяжело мне среди этих девиц, – полушутя по форме, но совершенно серьезно по смыслу говорила Улисса маме, воротившись домой и запрокидывая тяжелый портфель в кресло. – Знала бы ты, какие они все бестолковые». «Погоди, не время еще», – отвечала та с улыбкой изнутри своего вызревшего женского знания.

Училась Улисса прилежно, науки давались ей легко, и учителя хвалили ее за живой ум, развитую память, независимость взгляда и трудолюбие, пеняли лишь на небрежность в оформлении тетрадей и общую неаккуратность. Улисса и сама вскоре стала расценивать свою неусидчивость не как оригинальную особенность, которая ей даже нравилась в себе, но именно как недостаток, и со всем упорством принялась воспитывать в себе выдержку, взяв примером самых утонченных и педантичных однокашниц. Сквозь ее принятое уже снисхождение к женскости проявилось почти мужское любовное женским – способность что-либо делать, исполняя все правила, не думая каждую минуту, не сомневаясь, зачем именно это делаешь.

Пору своего созревания Улисса встретила в растерянной задумчивости, словно дошла до приметного дерева на горизонте, а оттуда ее глазам открылся новый, еще более широкий в тихих долинах пейзаж. Замечая, как округляются и становятся мягче линии ее тела, как ее лицо меняется и принимает именно что женственные черты, она вдруг расстроилась, красива ли она.

Первые проявившиеся в ней признаки женщины Улисса встретила с брезгливой настороженностью. Набухающие груди, острые, с каждым днем все более нелепо безвольно торчащие в разные стороны – одна к тому же кажется больше другой, – неприятно напоминали о козьем вымени и том нутряном запахе парного молока, в котором удушливо мешаются ноты крови, пота и навоза. И раздающиеся изнутри бедра. И тихая пульсирующая боль в суставах. Улиссе казалось, что она невольно изменила походку и даже садиться стала иначе, – это поначалу раздражало и унижало ее.

Но вскоре она стала заглядывать в зеркало с интересом, словно то новое, что внезапно проявилось в ней и что Улисса признала чужим, постепенно заполнило ее целиком, из сокровенных глубин естества проникло в каждую клеточку тела и подменило их все – раз так, значит, она должна быть красивой. Улисса не сразу призналась себе, что она сама именно что хочет быть красивой. И принялась разглядывать подружек, сравнивать их щеки, носы, подбородки, уши, глаза со своими чертами. Всякое воспаление и неровности кожи, которые прежде и не замечала вовсе, теперь пугали ее и приковывали все внимание.

И вот однажды, на уроке танцев белокурая Настя, которая всегда была едва заметна в классе, демонстрируя па с воображаемым партнером, вдруг вызвала в Улиссе истинное неподдельное восхищение. Она буквально воплотила собой и грацию, и нежность, и чистоту, была так изящна и точна в своих движениях, что, казалось, составляет единое целое с окружающей ее музыкой, то ли сама эту музыку производит, то ли в ней и проявляется зримым образом.

Улисса ощутила ревность и боль, признав своим восхищением Настей, что соревнование женского созревания она проиграла. Дома, стоя голая у своего тайного зеркала, пытаясь повторить движение рук Насти,

особый наклон в пол-оборота чуть назад, словно на руке воображаемого партнера, Улисса пришла к окончательному выводу, что она некрасива. И с тех пор ни грудь, ни бедра больше не занимали ее. Все это женское в ней показалось едва ли не лишним, случайно приданным, ей самой, настоящей внутренней Улиссе, не соответствующим. Утвердившись в своей обычности, она восприняла ее признаком равенства со всем прочим, неженским.

Однако первое столкновение с теперь уж осознаваемым, напротив мужским, не женским испугало ее. Те дворовые мальчишки, в которых она в беззастенчивом детстве кидала из-за забора комками земли и грозила им палкой, все это время проводили свое какое-то неведомое ей соревнование и теперь поднялись в сильных, налитых необъяснимой злобой парней. Как-то, встретившись с ними по дороге из института, Улисса попыталась, как прежде, обругать их, пригрозить и высмеять, но в ответ блеснул нож. «Ну-ка, попробуй», – прошипел один из них в ответ на ее угрозы, надвигая на глаза кепку. Если бы не дворник, который внезапно появился в проулке и не засвистел, призывая жандармов, неизвестно, чем кончилось бы это столкновение. Шпана тут же рассеялась, но оторопевшая Улисса осталась с чувством растерянности не столько перед опасностью, сколько пред слабостью и уязвимостью всего своего внутреннего существа, которое ощутила, увидев холодное и жадное лезвие. Ее женская ординарность сама по себе никакого равенства ей не обеспечила, но лишь призвала ее к нему. И позже, вспоминая красавицу Настю, встречая многих других красивых женщин, Улисса будет испытывать, привычно, словно растоптанные домашние тапочки, то самое снисхождение и даже досаду к этой закабалившей их красоте.

Потом была академия Штигилица – бойкие курсистки, которые вели себя так, словно женский вопрос давно уж был разрешен, молодые художники и их наставники, страстно препарирующие любую традицию в алчных попытках пересобрать ее в новые этико-эстетические формы, – и гордый ветер Петербурга, который, как величавый отец, испытывал ее. Улисса жила в кольце маршрута между классными комнатами и демонстрационными залами академии, архивов и библиотек, между музеями и хранилищами, чьи этажи исчислялись эпохами всевозможных народов, лишь изредка выбираясь в свою комнатку на Петербургской стороне, где запоем рисовала. В этот период наслаждения и познания творчества для нее были слиты воедино не день и ночь, но времена года. На этом маршруте она и встретила Федора. Он был похож на ее отца, такого, каким она представляла его в бесстрашной еще молодости, когда любые векселя представляются благом приобретения, а не немедленным долгом.

Улисса с горячностью увлекалась анатомическим рисунком, плодя целые серии изображений рук, пальцев, кистей, сжатых, напряженных и нежно-расслабленных, восторженных и смиренных. Те же эмоции, не определяемые в рисунке никак иначе, кроме движения мышц и сухожилий, она воспроизводила и в изображении других частей тела, так же разбирая их визуально на еще меньшие части и детали. Кроме того, она представляла, как одно и то же переживание отражается в теле мужском, женском, детском.

Миндалевидный глаз – изысканный поэтический образ. Улисса нарисовала один и затем превращала его в глаз коровы, кобылы и оленихи, а затем – быка, коня и оленя. Затем – человека, мужчины и женщины.

Ту же половую мутацию линий Улисса отыскивала или пыталась создать, рисуя серии деревьев и петербургских фасадов, тянувшихся сложным раппортом вдоль набережных и проспектов. Текучесть образов, их едва уловимое, словно в ночи, трассирование между ячейками периодической таблицы эволюции завораживала Улиссу. Она чувствовала буквально религиозный экстаз, сопутствующий тому самому мгновению перед открытием Царских врат, когда хоры замолкают и в золотом блеске собора снисходит самый Он. Она едва не растворилась в нем, не обернулась мерцающим огоньком лампы пред величественным ликом. Вся обернулась в зрение и застыла.

Однажды Улиссу разыскал куратор курса и сообщил, что поступил интересный (он усмехнулся и в задумчивости коснулся пальцем кончика носа) заказ на оформление жилого интерьера. «Мне показалось, что запросы хозяина дома очень соответствуют вашим взгляду и руке, и потому решил предложить эту работу вам. Он будет у меня завтра в три часа. Приходите к этому времени, пожалуйста, я вас познакомлю», – сказал куратор и, не дожидаясь ответа, ушел.

Это было не первое деловое предложение в начинающейся карьере УлиССы. К этому времени она сошлась с архитектором Власовым, который, пригласив ее для росписи карнизов здания банка и оставшись довольным результатом ее работы, все чаще привлекал к своим проектам. Но до сих пор УлиССе еще не приходилось иметь дело с конечным заказчиком, самой вести с ним переговоры о деталях и стоимости контракта и распределять подряды. Она пришла в назначенный час в заметном волнении.

В кабинете куратора кроме него самого она встретила молодого белокурого человека с подобранным снизу лицом, но открытым добродушным взглядом. Он оглянулся на звук открывшейся двери и поднялся ей навстречу, застегивая пиджак, одновременно и вытягиваясь в спине, и слегка наклоняясь в приветствии. Это был Федор. С первого взгляда ничего не произошло, УлиССа едва разглядела его, едва разглядывала, волнуясь, даже когда на него прямо смотрела в процессе разговора. УлиССа и мало что поняла из того, что тогда говорилось, запомнила лишь, что речь идет о зеркалах, светильниках потолочных и настенных, дверях и мелкой мебели – заказчик хотел подчинить все убранство своего дома, объединить его пространство неким художественным элементом или связанной серией элементов, неочевидных при первом взгляде, но являющихся рефреном, красной нитью и определяющим тоном в процессе деятельного пребывания в интерьере. Он скептически отозвался об установившейся моде на тематическое оформление разных комнат – столовая в китайском стиле или современная гостиная, – отдавая предпочтение «метаморфозам стилевого единообразия» (тут же улыбнулся и замахал руками, извиняясь за свое невежество в терминологии, как бы говоря «не знаю, как это выразить, но надеюсь, вы меня понимаете»), и предостерег от пустого украшения, подавляющего практическую функцию предметов.

УлиССа не выказывала готовности взяться за эту работу, лишь выражала понимание замысла, но, видимо, что-то в ответ все-таки говорила такое, что Федору понравилось, и он завершил разговор замечанием о том, что детали и смету проекта стоит обсудить отдельно, при личной встрече, тем самым исключив возможность ее отказа. Куратор курса же, исполняя роль своеобразного нотариуса при готовящейся сделке, произнес слова об истинной увлекательности поставленной в проекте задачи

(«к сожалению, в наше время не так часто встречается требовательный вкус»), о репутации академии, которую Улисса должна поддержать, и необходимости успешного старта ее профессиональной карьеры. Напутствуя таким образом Улиссе, он пожал ей руку в тот самый момент, когда Федор, вновь вскочив со своего места, спросил ее, где ей удобно будет с ним встретиться вновь. Договорились на завтра же.

Назавтра она его и разглядела. Поводом для их сближения, который сразу разрушил границы строгих и сухих отношений между заказчиком и исполнителем, превратив их в партнеров, стало выясненное обстоятельство, что они всю свою прежнюю жизнь прожили в одном городе, почти на соседних улицах, но встретились (это «встретились» взамен «познакомились» прозвучало уже почти дружеским свидетельством впервые, кажется, все-таки из его уст) в тысяче верст от дома. Чувство хлебосольного землячества успокоило взаимное волнение и лишило сомнений, и между ними установилось подотчетное доверие, такое, что при любых обстоятельствах формирования, а затем и реализации проекта они легко находили компромисс. И уже только ретроспективно и, кажется, уже одновременно почувствовали, что искренне полюбили друг друга, в тесном сотрудничестве встречаясь почти каждый день, обсуждая, споря, доказывая и соглашаясь, — два человека, у которых никого, кроме друг друга, не было в чужом холодном городе.

Улисса придумала сделать системообразующим элементом интерьера Федорова дома цветок тюльпана — с юно вытянутым бутонем и не отслоившимся еще от стебля листом, или, напротив, приторно раскрывшийся, с опадающим, уже вянущим лепестком и настырно выставленными тычинками. В оформлении стен она использовала изображение пары тюльпанов, стройных, изогнутых, почти сплетенных, вписанных в орнаментированный квадрат то ли рамы картины, то ли зеркала. То был нарочито цветной и контрастный с древесным оттенком элемент в пространстве теплых пастельных тонов интерьера.

Федор был сыном кирпичного короля Федотова (он и подписывался сдвоенной «Ф»), переплетенной завитками так, что выходил цветочный в радиальных лепестках круг), активно развивал собственное дело, а теперь решил строиться и затевал целую усадьбу на Напольной улице, неподалеку от семейных заводов. Вывалил на Улиссе громадь своих планов — больница для рабочих, школа и мастерские для их детей, общественная библиотека и даже парк — с такой напористостью, что та поспешила отстраниться от них. Она очень устала от поездов из Петербурга в Нижний и обратно, от необязательности подрядчиков и путаницы в счетах — от всех недоразумений и откровенных несуразностей, которые теперь уж не просто поджидали ее на каждом шагу, как обычно, но словно толпились и накатывали, напирали друг на друга, — а потому и слышать не хотела сейчас о возможном развитии и продолжении проекта. Не заметила даже, как закончила работу, не проверяла, расплатился ли Федор с ней целиком, выбралась в покой, как на твердую после морской качки землю. Но едва пришла в себя, немедленно заскучала и без работы, и без него. Это стало актом их взаимного признания — когда Федор явился к ней не с бутылкой вина и холодной закуской, чтобы всю ночь напролет вместе корпеть над эскизами, но с букетом ирисов, в котором торчали билеты в театр, а она беззастенчиво, по-ребячьи или по-сестрински крепко обняла его.

Потом была Италия. Словно петербургский маршрут Улииссы, на котором она уже не могла остановиться, вышел на новый эволюционный

виток – Сицилия, Неаполь, Рим, Флоренция, Генуя, Пиза, Венеция, Милан. В этом перечислении опорных точек четырехмесячного путешествия не было для нее никакого смысла – Улисса почти не различала городов, которые слились для нее в единый солнечный поток наслаждения творчеством и любовью, настолько плотный, словно бы он весь излился на нее в течение одного дня.

Поначалу, на первых своих рисунках, работая в карандаше, Улисса легко выводила свою фамилию целиком, работая углем – переходила в росчерк, с акцентом на переднее, как ворота «Па», а затем, освоившись с кистью, особенно здесь, в Италии, где буквально не выпускала ее из рук, стала помечать свои работы окошечком римской арки, в котором красовался пухленький, с чубчиком и хвостиком, с вывалившимся брюшком в манере старославянской вязи «аз». Улиссе забавляло, как помещенье плоское, перекатное пространство «Палова» обернулось тоннельным инженерным проходом. Так много их было здесь, внезапно открывающихся лестничных переходов, – за углом, меж домами и даже на тупиковых улицах всегда можно было выйти, выпрыгнуть куда-то еще, путаясь в высотах и сторонах городов до головокружения.

И только когда они преодолели Альпы, в Цюрихе, когда их обступила внезапная тишина горных вершин, а неудержимое марево, расцвеченное сочными красками, растворилось в памяти, когда Улисса принялась открывать чемоданы со свежими своими эскизами, а не покупать для них новые, она словно бы огляделась, и время вновь перестало для нее катиться кубарем, но пошло должным порядком. Здесь, среди размеренной организации тесных долин, где даже намек на закипание беспорядочной жизни грозил снежной лавиной, смысл обретало не только время.

Федор заговорил с Улиссой о равенстве, словно придав напитавшей их красоте дополнительное измерение социального чувства и красоту приземляя социальной ответственностью. Как-то вечером он признался ей в том, что подобно толстовскому Левину чувствует несправедливость своего положения, но, противно тому, находит смысл в общественной деятельности. Федор сказал, что сочувствует социал-демократам и много уж лет участвует в финансировании их деятельности, а здесь, в Цюрихе, должен встретиться с некоторыми из них.

Улиссе показалось это дополнение – не сразу нашлась как назвать – освежающим, строго разумным, а немного погодя и само собой разумееющимся, обязательным даже для всякого развитого человека. Человека, развитого достаточно, чтобы преодолеть субъективную близорукость однобокой половинки. Не комьями же земли и палкой защищать уязвимость, тем более насильно приданную, но, да, исправлять выверенной мыслью, твердой волей и последовательным словом. «Здравый смысл не всегда исповедуется, но неизменно побеждает», – говорил Федор, и Улиссе очень нравилось внутреннее равновесие этого утверждения. Она горячо поддержала своего милого друга. Остаток лета они провели в Берлине.

В Германии Улисса вновь принялась рисовать, но поначалу путалась в прежней своей палитре, пока не подобрала новую, наиболее полно отображающую ее теперешний взгляд. По-прежнему пренебрегая сюжетами, Улисса нашла для себя форму предметного, как она говорила, портрета, в котором сиюминутная эмоция человека укоренялась в его доминирующем чувстве. Словно бы все сонмище образов, движение которых она наблюдала в окружающем мире, теперь сосредоточилось для нее исключительно в человеке и в нем распределилось синонимичными

рядами в мужском, и женском, и детском началах. Социальный вопрос, лишь пророненный, не дискутируемый Федором, обрел для нее значение вопроса наиболее общего, примиряющего в себе разнообразные различия. Внутри, в одиночестве, перед Богом, роится целый рой вопросов, но как только человек открывается вовне, все они отражаются в одном общем – вопросе социальном.

Вместо дворцов, орнаментов, диковинных вещиц и платьев, фруктов, ослов и с ними человека, разделяемого по ее прихоти по полу и возрасту, теперь Улисса рисовала полицейских, рабочих, бургеров, прачек и базарных торговков, коммерсантов, банкиров и клерков, наделяя их черты особым чувственным ореолом. Она ощутила, что зачарованное любование, легкое и скоротечное, которое прежде вело ее и являлось источником вдохновения, неиссякаемым настолько, что захватывало дух, теперь, словно река, убранный в русло набережных, обрело почву, контекст, связность рассуждения. Ее творчество обретало платформу мысли. Это смущало Улиссу – так ценимый ею прежде душевный порыв отстранялся в сторону, уступая место рассудочному намерению, – но делало, как ей в то же время казалось, работу полноценнее. «Эмоциональный протуберанец, – говорил об ее портретах Федор. – Ты освещаешь их собой. Они на тебя реагируют».

Это было время их длительных разговоров, когда любовники все глубже погружались друг в друга. Федор безошибочно угадывал в ее работах следы этих разговоров, Улисса находила в них опорные точки художественных флюидов, которые питали ее и носились бесформенные в ней. Итальянские эскизы она отставила в сторону и по возвращении в Россию принялась превращать намеченные портреты в картины. На границе они разъехались – Федор через Смоленск и Москву отправился в Нижний выправлять свои дела, наверняка разболтавшиеся за полугодовое его отсутствие, Улисса на пути в Петербург, сколь могла долго держалась побережья, где все еще тянулось влияние и память о Германии.

Она все более примирялась со своим мысленным, обдуманым творчеством. Тот же Толстой, как теперь ей казалось, разве не от ума забавлялся своими персонажами. В «Войне и мире» Улисса увидела структуру карусели, в которой парами – Наташа и Элен, княжна Марья и Соня, Николай Ростов и князь Андрей, старик Болконский и граф Ростов, те же Долохов и Денисов, а в центре – Пьер, как парафраз того самого дуба. И вся эта поразительно живая многомерная многоликая картина выписана для того только, чтобы выразить многослойное, как горные плиты, учение о движении народов и самого близкого для автора и родного из них – народа русского. Никакой научный язык не способен на подобную точность формулирования полноценно целого, пусть и не вполне понимаемого, осязаемого. А «Анна Каренина» – конечно, качели – Анна и Левин. И между ними, ближе к точке равновесия – Китти и Вронский. И все это колеблется утренним туманом в русской золотой осени, вертится сомнениями и правдоискательством неутомимой души на иголочке художественного образа.

В платформенной мысли, укорененной в самой мрачной мутной глубине народного духа и восходящей к блистающему горному миру, Улисса видела родство русской литературы с немецким романтизмом. Но не столько Гейне, сколько Баха. Человек. Единственно человек! С тысячелетним былинным эпосом за спиной и пронзительным вызовом перед глазами. Одиноким голый человек. Без вспомоществования

долга перед ним. И вот оно – «Воскресение». И добровольное самообременение долгом.

Ее берлинские портреты имели успех в столицах, живо заигрывавших с социальным вопросом. Сам Прохор Дмитриевич Ауэр с удовольствием выставлял их и дорого продавал. Он же привлек внимание Улииссы к отечественной фактуре. «Вы достаточно метафоричны, я вижу, но публика всегда предпочтет узнавать себя непосредственно, – сказал он и поиграл пальцами, словно что-то крутил ими, и лукаво улыбнулся. – Вам замечательно удастся тревожный свет, через ракурс создаете эффект движения, перспективой управляете размером – очень хорошо! Но, может, стоит добавить русской ноты, утренней газеты, так сказать, а?»

Улииссе очень не хватало Федора. Он часто приезжал в Петербург, они виделись, когда она навещала родителей в Нижнем и ездила в рабочие поселки Сормова, они встречались и в Москве, и в Иванове-Вознесенске – ей нравилась независимость и свобода их отношений, – но временами Улиисса бывала столь переполнена чувствами и мыслями, или, напротив, ими же опустошена, что нестерпимо хотела поделиться со своим милым другом или им увериться.

Однажды они встретили ее отца. Вышло случайно – Улиисса в этот раз не сообщала родителям о приезде – и оттого нелепо. Григорий Петрович Палов был очень удивлен, увидев дочь в ресторане братьев Розановых с незнакомым мужчиной, но виду не подал и счел необходимым подойти поздороваться, даже если она не заметила его, – иначе получилось бы, что он будто следит и подглядывает за ней. Улиисса страшно растерялась, заметив отца совсем рядом, когда он вдруг вырос подле их столика, высокий и прямой, с сухим выражением лица. Федор в этот момент рассказывал что-то смешное, и она была возбужденно-весела, оттого стучивалась еще более и буквально вскочила раскрасневшаяся, с суетливыми руками, чтобы поцеловать отца. Познакомила его с Федором – теперь неловко было всем троим. Григорий Петрович пожалел, что подошел, – признав в незнакомом мужчине жениха своей дочери, он был обижен на нее за то, что вот так, походя, знакомит их. Вышло так, что он невольно признал существующее положение вещей, хоть и не был с ним согласен и чувствовал себя едва ли не оскорбленным. К тому же, не нашелся, что сказать остроумного или веского и потому сердился на себя. Он сделал вид, что не заметил предложение Федора присоединиться к ним, и, сказав Улииссе «я передам матери, что у тебя все хорошо», ушел.

В тот приезд в Нижний Улиисса так и не навестила родителей, придумав, что дает им время пообвыкнуться с мыслью о повзрослевшей дочери, вполне самостоятельной для того, чтобы вести жизнь, какую хочет. А впредь они с Федором избегали появляться в ресторанах на центральных улицах Нижнего, предпочитая заведение Бобикова в Сормове или «Старую Казань» за ярмаркой.

Улиисса прочувствовала эту встречу с отцом неким посягательством и давлением на свою жизнь, тем более неприятными и раздражавшими, что в этом посягательстве и давлении не было ни умысла, ни вины чьих-либо. Подобные безымянные векселя оборачивались наиболее остро ранящим Улииссу переживанием недоразумений и несуразностей, их уж и вовсе едва ли возможно было изменить или исправить. И оттого она все больше нуждалась в Федоре, в его любви и кажущейся уверенности в том, что он делает, – если не поводыре, то сопутчике меж верстовых столбов ее маршрутов.

Светские знакомства, которые Улисса все больше накапливала, никак ей не помогали, будучи подчиненными лишь самолюбованию или выгоде. Молодые, так же, как и она сама, ищущие новый язык художники и поэты, так же, как и она, лишь следовали за новым социальным вопросом, но не находили ответа на него. Эксперименты с эстетикой лишь усложняли реакцию старой этики, не обещая появления этики новой.

В одной подпольной брошюре поэтов-анархистов Улисса нашла похожий на колченогого механического жука стих:

Нос – клюв,
Глаза – парходные окна,
Рот его – арбузная долька с пчелами в гнездах семечек-зубов.
Шея – шприц,
В шприце – липкий маковый соус,
Всеохватное сердце шепчет неугою сладостных грез.
Печень – могила,
Желудок вампира,
В руковветях ласкающих честно-смело дерзит манифест.
Ноги-ножницы в танце
Отсекают сомненья:
Равновесье наисложнейшей фигуры – это простейший крест.

Весельчак конференсье
Приглашает в кабаре.
Где на раз, и два, и три
Без тревоги ты войди
В искрометный мир войны
И умри.

Последнее шестистишие было помечено как припев. Разумеется, озорство бесшабашных студентов-социалистов, подумала Улисса, ведь невозможно представить, чтобы кто-то сочинил на эти слова музыку. Но почему бы и не картину?

Улисса по мотивам этого стиха нарисовала несколько плакатов, на картоне, в экспрессивной манере – с угловатыми формами, резкими штрихами, в контрастных цветах. Теперь она применила псевдоним «Палая», который выводила с точками вместо «а» так, что вокруг похожей на нос перевернутой галочки «л» они напоминали глаза. Плакаты пошли не в галереи, а в богемные кафе и кабаки. Кто-то из их завсегдаев, угадав источник, уже на месте докрасил их цитатами из декадентского стиха. Тогда Улиссой заинтересовались в жандармском управлении. Вежливый, незаметный, как горошина в тарелке с горохом, полковник пригласил ее на беседу, предостерег ласково, словно корову с вольного луга направлял в загон, и с заботой педагога угрожал. Улисса была до глубины души оскорблена подобным обращением и просила Федора свести ее с петербургскими партийцами – под полицейским давлением она почувствовала азарт. Она представила вдруг, что будет если однажды промозглой ночью персонажи ее портретов, развешанных в домах по всему городу, все эти заводские рабочие и мастеровые, сойдут с полотен во плоти и потребуют свое. «Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое». Она почувствовала омерзение, заметив, как порочные люди объединяются в достижение большинства, чтобы именно честных людей, окружаемых со всех сторон, назначать преступниками.

Палая, талая, малая. Шалая. Улисса увлеклась иллюстрацией подметных памфлетов. Она познала ядовитое удовольствие человека, который обрел силу со всею заинтересованностью и дружелюбием разговаривать со своим обидчиком, обдумывая в то же время, как отомстит ему.

Федор примчался, как только узнал про жандармов. Подробно расспросил ее, что да как, и, немного успокоившись, тоже предостерег, но по-своему, сказав, что еще не время. «Когда стоишь в относительно узком коридоре, например, ждешь лифт, то подсознательно занимаешь место где-то на середине его ширины, как бы оставаясь в одинаковой степени связи с одной стеной коридора и другой. Но представь себе площадь – Дворцовую здесь, в Петербурге, или Святого Петра в Ватикане – пространство, размеры, объем которого многократно превышает твои собственные. А? Представь себе силу, с которой тебе не сладить. Тогда ты, словно подчиняясь закону притяжения масс, инстинктивно будешь стараться приблизиться к одному из тех объектов, что это пространство формируют своей громадой, – ты выберешь сторону. Стоять одному, на самой середине, в нейтральной полосе, между взаимно противными силовыми полями трудно, почти невозможно, – сказал Федор и заглянул ей в глаза. – Понимаешь?»

– Поэтому в центре площадей устанавливают памятники или сажают деревья, – добавил он, усмешкой скрывая тревогу. Тогда Улисса впервые заметила у него револьвер.

Они провели вместе три дня и все это время на виду тех, кто мог бы ими интересоваться, – демонстративно появлялись в разных цивильных местах, ужинали в «Палкине» или «Доминике», заходили к Ауэру, Филиппову и в «Квисисану»; дома лишь кратко ночевали. Но, отвлекаясь от страха жандармского преследования, вызвали друг в друге волнение другого рода. Увидели это по глазам, в которых взаимно отразились в последнее утро, – Федор словно был удивлен тем, что ему вдруг пришла пора уезжать, Улисса и вовсе не находила уже ответа, зачем ему уезжать, когда бы то ни было. Нежность, которая отразилась в ее взгляде, ее бесхитростное желание обладать им и ему целиком принадлежать воспалило его сердце. Федор крепко обнял ее и горячо зашептал в самое ухо:

– Я знаю. Я все знаю. Но не сейчас, надо потерпеть.

Улисса никогда не спрашивала Федора об его делах, даже и не думала о них, предполагая, что он сам, без ее участия может, да и сам должен. Она лишь проявляла постоянную готовность дружеской поддержки, бывала внимательна к любому его настроению и предусмотрительна так, что он, даже находясь за тысячу верст, никогда не сомневался в ее присутствии. Но в то утро и неведомо почему все стало как-то иначе – Улисса зашлась предчувствием тоски от близкой разлуки и облепила его собой, спеленала его.

Федор пытался успокоить ее, но лишь сильнее растрожил. Уговаривая в чем-то и себя, он вдруг сказал, что дело вовсе не в революции. Что социалисты, может быть, где-то, в более счастливых местах, и могут сыграть созидательную роль, но в России, отсталой и в своем невежестве инфантильной, они, даже и не желая того, самим порядком вещей будут принуждены к мошенничеству, как взрослые необходимо мошенничают с детьми, манипулируя их зыбким сознанием. Федор сказал, что даже отец его, сколотивший здесь состояние, предчувствует крах. «Вся семья собирается уезжать, – горячо шептал Федор, – мы выводим

средства за границу». Затем отстранился, удерживая взволнованное лицо Улииссы в своих ладонях, коснулся носом ее носа и улыбнулся: «Мы тоже уедем. Год-два – и уедем. Я сделаю для них все, что обещал, а там уж пусть как хотят. Будь что будет. Нам с этим не сладить».

В первое мгновение ей понравилось это его «мы», ласковое тепло растеклось в ее душе от того, что он принял решение за них обоих. В его признании, случайно вызванном приступом утренней отчаянной нежности, она увидела игривое желание сюрприза, который скрывают до самого праздника, а затем в нужный час предъявляют ко взаимной щекочущей радости. Но спустя время она явственно услышала и его «уедем» – оно звучало уклонением, избеганием, исходом, оно сквозило трусостью. И такое милое ранее «мы» теперь царапнуло ее гордость – за них обоих Федор принял решение именно отказаться. Он все еще отдавал какие-то свои, неведомые ей долги, но уже готовил себе место на безопасной стороне, не только не сопротивляясь ущербности своего, или – неужели?! – их положения, но оправдываясь этой ущербностью, словно ее оберегая.

И в то же время «уедем» обещало ей покой, освобождение от глупых несурзностей, которых, на взгляд русского туриста, в подчиненной порядку Европе и не бывает вовсе, прельщало тем самым оздоровительным обновлением, которым так соблазнительно бывает всякое будущее, тем более такое, сопряженное с дорогой. Улиисса услышала в этом слове и возможность стать им наконец действительно вместе, будто бы они хотели, давно уже добивались этого, но никак здесь не могли. Она и не думала никогда, они никогда не обсуждали намерение объединиться семьей, но теперь Улиисса была словно уверена, что им здесь что-то безусловно мешает, будто бы все окружающее и даже самый воздух снова и снова формируют обстоятельства непреодолимой силы, разделяющие их. «Уедем» прозвучало для нее избавлением от привычно узаконенного для всякого русского человека, не требующего доказательств своего существования, едкого удушающего дыма Отечества.

Но в суматохе сборов и прощания, когда Федор на перроне вокзала целовал ее руки, согревая их своим дыханием, заглядывал в заплаканные глаза, подбадривая улыбкой, Улиисса не успела додумать свои противоречивые мысли. Они договорились встретиться в мае, в Москве, и друг другу пообещали «не делать глупостей» в оставшиеся два месяца.

Незаметно для себя самой Улиисса в это время отставила свою работу. Заигрывая с жандармами, она иллюстрировала социалистические памфлеты и перенимала от партийных связных, которым передавала изрисованные блокноты под столиками кафе, вкус к конспирологическому изменению внешности. Она чувствовала себя защищенной призрачно радостным будущим и забавлялась игрой на площадных подмостках целого города. Но работу, серьезные занятия живописью оставила, словно предчувствуя некий новый период своего творчества.

Недодуманные мысли, рожденные словами Федора, в этот период язвительного отдохновения все еще оставались в ней не разрешаемыми до конца. Как последний застигнутый на тарелке крепкий склизкий груздок, который не прихватишь вилкой – дразнит и манит, но не дается, – так и мысль о том, будет ли трусостью бросить все прежнее, а значит, обесценить все сказанное, сделанное, обещанное, кружилась в голове, но никак не разрешалась ответом. Она чувствовала разочаровывающую приземленность того счастья, которого все ярче хотела,

и никак не могла решить, насколько это желание простительно. То, что оно простительно в целом, Улисса уже про себя знала, не решалась лишь оценить, мало-душие – это насколько мало и недостаточно? Единственно человек – всего лишь человек. Тоже ведь не проговаривая, Улисса умудрялась теперь согреться этим допущением. Подобно тому, как, убедившись, что никто не видит, прихватишь тот груздок пальцами да и насадишь его, наконец, на вилку собственной рукой.

«Все всегда уезжают». Меланхолическую поэтику русской образованности Улисса позволяла себе с удовольствием, гуляя по Марсову полю, где уже все чаще по теплой погоде бывали выезды конных гвардейцев. Петербург располагает не столько к живописи, сколько к стихам. И вот уже Летний сад приводили в порядок после зимы.

Она приехала в Москву с робкой, новой для себя мыслью, что должна просто довериться Федору. Как красавица Настя в своем танце, опасно выгибалась, почти падала назад в надежде, что рука воображаемого партнера подхватит ее. Это залог, быть может, и жертва с ее стороны, но как же иначе, если они будут вместе.

Федор ничего не заметил. Кажется, не услышал даже и того, что она именно согласилась на отъезд, а не просто признала его решение. Искренне радовался встрече, отдавался ей весь целиком, но заметно тяготился какой-то задней позвоночной тревогой, поедая отведенное им время второпях, полной ложкой, вероятно, не ощущая даже его вкуса, как делают люди, надеясь насытиться впрок.

Лето провели в Париже, где Улисса с наслаждением погрузилась в атмосферу Монматра с его дрожащим зыбким штрихом, притаившись тут и там лестницами, вездесущим аккордеоном и красным шейным платком. Она разглядела здесь горделивую радость нищеты в противовес злобному ерничанью берлинских кабаре и примеряла к себе это ощущение, словно платье – а если так? Можно ведь и иначе. Время флирта, время ревности, время выяснения того самого «где здесь ты и где здесь я?», которое если не обеспечивает равенство, то, во всяком случае, устанавливает равновесие.

Возвращались уже осенью через Швецию и Финляндию. Во всех столицах Федор по несколько дней пропадал в местных банках, но избегал обсуждений планов об окончательном отъезде из России. Улисса замечала сосредоточенную задумчивость, которая порой находила на него, и за его молчаливостью видела желание уберечь ее от излишних треволнений. Не находила оснований сомневаться и, решив однажды довериться, просто выжидала, была подчеркнута рядом.

Петербург в этот раз принял ее дружелюбно и радостно, как и положено городу, в котором ты оказываешься проездом. Мысленно приготавливаясь к новой, непредставимой еще жизни, Улисса подобно Янусу сменила внутренние полюса – и теперь, возвращаясь домой, словно дом покидала. И мудрый Петербург откликнулся – задернул от ее взгляда все свои неопрятные углы и конфетами мимолетных удовольствий направлял на блестящие туристические маршруты, где если и возможна встреча с пороком, то только в себе самом – «извините за погоду, сударыня». До конца года Улисса брала лишь мелкие интерьерные заказы, щедро наполняя их парижским шиком, и никому не показывала свою новую радостную живопись. А наступивший январь 1905 года оглушил и раздавил ее.

Улисса встретила стачку, охватившую все петербургские заводы, с воодушевлением – «вот они сошли потребовать свое». Трубный рев

вхолостую выпускаемого из цеховых котлов пара звучал гимном. Черные толпы, растягивающие на проспектах тетику транспарантов, ходили на штормовую волну, в которой мелким прибрежным мусором кружатся нелепые жандармы и шакалящие в подворотнях филеры и подпольщики; казачьи разъезды гоняют повзрослевшую шпану. Улисса восторженно наблюдала, как в черно-белом городе пробуждается живой цвет. Но все ахнуло и застыло, замолкло ужасом под ружейные залпы на царственной площади. Внезапным, словно исподтишка, со спины, с той стороны зеркала ударом в незащитное лицо вся картина была рассечена. И кровавыми лохмотьями разорванного собаками тела побежали по городу одичавшие в один миг люди, не зная куда и не думая зачем.

Улисса сжалась от страха, омертвела той предательской оторопью, которую познала при виде оголившегося в нижегородском переулке ножа. Она словно услышала свист летящего камня, неведомо кем и куда выпущенного, и пригнулась в безотчетной надежде, что камень летит не в ее голову, что он пролетит мимо. Федор позвонил уже на следующий день – требовал срочно ехать в Нижний, опасаясь репрессий и беспорядков. Ударом остановившееся время скрючивалось и крошилось, как сминаемая сапогом картофелина. Он принялся звонить уже каждый день, пока Улисса приходила в себя, запоем читала газеты и боялась газет. «Родные товарищи-рабочие! Итак, у нас больше нет царя! Неповинная кровь пролегла между ним и народом! Да здравствует же начало народной борьбы за свободу!» Дробь восклицательных знаков, маршевая тарабарщина слов, вызывающих к гордой памяти справедливости, отзывались эхом с той стороны будущего, настойчиво проклевывая, разрывая его пелену. Дробь восклицательных знаков не различала цели.

Улисса чувствовала себя человеком, застигнутым обвальным ливнем на самой середине площади – отсюда путь только навстречу, вверх, раскинув руки. Никуда не поехала. Наполнялась яростью и гневом.

Улисса возобновила партийные знакомства и отчаянно шагнула в поток прокламаций, манифестаций, демонстраций с очистительной радостью поставленного к стенке последнего героя. «Свободу слова! Право на слово! Свободу слова! Право на слово!» Редкая стрельба по ночам – кажется, за самым углом и, да, кто-то бежит – это волки добирают отставших и раненых.

Федор приехал сам. Выкурил пачку папирос, пока наконец дождался ее. Выбежал к самым дверям, как только услышал клацанье замка, с размаху обнял, окружил ее собой.

– Как ты? В порядке?

– Я хорошо, – посмотрела ему в глаза снизу вверх, поцеловала в подбородок. – Рада тебе очень, – улыбнулась. – Почему не предупредил?

– Решилось в последний момент. Суета сейчас, сама понимаешь, – не знал, когда смогу.

Прошли в комнату.

– Я ничего не приготовил, извини.

– Не страшно, я поела. Будем чай пить. Ты как? Что в Нижнем?

Улисса захлопотала у самовара. Федор выглянул из-за задернутой портьеры на улицу, прошел к другому окну – видимо, так и ходил по комнате, пока ждал ее.

– Разгорается. В Сормове постоянные столкновения, в самом городе уже беспокойно. Власть трещит – войск нет, только жандармы. Фор-

мируются боевые отряды, уже в открытую, непосредственно в цехах, в рабочую смену, на хозяйских станках производят оружие. Со дня на день, в общем.

– Значит, так, – проговорила Улисса, ее лицо выражало строгое спокойствие.

– Этого не остановить.

– Я иногда думаю, что же дальше, что будет потом, после.

– Мы уедем. Следующей весной. Я уже нашел покупателя на дом, правда, дешево.

– Мой дом, – улыбнулась Улисса, вспомнив, как обихаживала его, как, волнуясь за каждую деталь, выполняла свою первую крупную работу, вспомнила, как они познакомились. Всего несколько лет и некую, осознаваемую сейчас как иную, жизнь назад.

– Можем ли мы уехать? – без вопроса спросила она.

– О чем ты?

Федор остановился, заложив руки в карманы.

– Сейчас, – с ударением сказала Улисса, – можем ли мы уехать.

– Именно сейчас и должны. Опасаюсь, не поздно ли.

– Но ведь дело в самом разгаре. Твое дело. Ты посвятил ему гораздо большее, чем я.

– Нет, это уже не мое дело.

– Говорил слова, воодушевлял, привлекал, обещал... И можешь запросто бросить, когда тебе поверили, за тобой пошли и уже не смогут вернуться.

В ее интонации прозвучал вопрос.

– Я уже не верю. Все изменилось с тех пор. Нет, не жалею, но... Даже обидно, понимаешь, как все оказалось вывернутым. Я хочу вырваться из обстоятельств, к которым не имею никакого отношения, они формируются словно сами собой, по непонятной мне логике. Я не чувствую за них ответственности, нет здесь долга.

– А я думаю, что не столько Гапон провокатор, даже если и допустить такие подозрения, сколько мы, мы все, так умно разглагольствующие. Каждый из нас несет ответственность за то воскресенье. Теперь уж надо идти до конца, разве нет? Иначе что ж, неудачный эскиз, черновик, попробуем еще, по-другому как-то? Я не кошка – у меня не несколько жизней.

– Что ты хочешь сказать?

– Я не поеду. Не сейчас. Не знаю, когда смогу.

Федор бросился к ней, присел на корточки рядом, ухватил за руку.

– Уля! Я не понимаю тебя, – нащупал за спиной стул и, не спуская с нее испуганного взгляда, не выпуская руку, сел на него, – мы же все решили, ты согласилась. Мы же все уже обсуждали. В чем дело?

Она в ответ пожала его руку и высвободила свою, не глядя на него. Качнула головой, словно подтверждая его слова, но сама сказала другое.

– Все всегда уезжают. Но надо пробовать остаться.

– Извини, это просто глупо, – воскликнул Федор. – Это жертва? Чему, ради чего? Почему ты?

– А почему не я? – Улисса посмотрела на него, сквозь длинную челку каре. – Я хочу говорить, понимаешь, это ведь действительно право, исходное и неотъемное. Одно лишь при этом условие – быть здесь, – она усмехнулась.

– Ну хорошо, – Федор откинулся на стуле, сложив руки на груди, – ты спрашивала, что будет дальше, после этого. Я скажу тебе, что

будет – все полетит к чертям! Все, что ты знаешь, к чему привыкла, чему доверяешь и во что веришь, – все это перестанет существовать, перевернется противным себе, вывернется обратным...

– Знаешь, я слышала как-то от одного футуриста, мол, да, слов слишком много, но при этом ни одно из них не оказывается однозначным, впадая в зависимость от контекста. Поэтому нет, слов явно недостаточно.

– Вот именно! Все прежние слова уже не имеют смысла...

– Говори, пожалуйста, проще.

Федор видел, что Улисса не слушает его, заранее готовая к любым его соображениям. Она словно в сомнамбулическом забытии, как корова, направляемая потоком стада, тяжело, но спокойно брела к месту забоя. Он вскочил и, торопливо закурив, снова заходил по комнате.

– Власть не способна деятельно защищаться. Вызвав террор, она и сама лишь на террор способна. Сейчас или через десять лет эти непоколебимые от века горы монархизма рухнут мелким щебнем. Надо будет строить что-то новое. Но строить здесь никто не умеет. Буржуазия? Наша буржуазия не производительна – только рента и откуп. Тех сил, которые смогут сформировать новый порядок, просто не существует. Я вижу это совершенно отчетливо, так уж вышло, что вижу обе стороны, – все разговоры о справедливости и должностовании вертятся на тонюсенькой ножке вопроса о власти. Она и только она – цель, сакральная в своей герметичности чаша истины, а вовсе не средство. Что с ней делать, как применить, никто не знает, все любят ее.

– Красиво, – сказала Улисса. – Пусть так и будет. Пусть будет даже так, но я смотрю из своего маленького окошка, не могу окинуть взглядом такие широты, отвечаю лишь за себя, но за себя я не могу не отвечать.

Она вздохнула и заторопилась к закипающему самовару.

– Ты, пожалуйста, не думай лишнего, – достала чашки, заварила чай в огромном, похожем на вазу чайнике, – я очень тебя люблю, я говорю все это так спокойно, потому что говорю изнутри нас. Ты сам виноват, приучил меня к доверию. И мне очень радостно. Всем сердцем хочу, чтобы мы были вместе, называй это мужем и женой, братом и сестрой, друзьями – мне все равно, лишь бы мы не расставались. Зачем я это говорю, не знаешь?

Улисса вдруг искренне засмеялась. Федор взволнованно смотрел на нее, не понимая пока, к чему она ведет.

– Но видишь, как выходит. Мы не можем спрятаться и избежать не можем. Никто ведь не обещал нам счастья, никто не должен защищать нашу любовь. Ты пугаешь крахом, разрушением, уничтожением – пусть так, но что это означает для нас?

Улисса посерьезнела и все так же, стоя в другом углу, через комнату сказала:

– Я объяснила тебе, почему не могу уехать. Очень хочу, чтобы ты понял меня. Это не призыв к тебе, не ультиматум. Это мой способ остаться собой в нагрывшем хаосе. У тебя он, возможно, иной, – и через паузу твердо добавила: – И я не знаю, что будет.

– Хорошо, – ответил Федор, – если я правильно понял, то скажу, что время еще есть. Я не все могу тебе объяснить, это очень длинный разговор, как долго я приходил к своему убеждению, но думаю, еще есть время, чтобы и ты убедилась. Что разумно и правильно не погибнуть в хаосе, а извлечь из него уроки, чтобы знать на будущее, как с ним

справляться. Ладно, не будем продолжать этот спор. Если ты не надумаешь, то я не знаю... я не знаю, зачем и мне уезжать, без тебя, — он пожал плечами, — без будущего.

В таком качении, в ожидании, в разглядывании бесноватых событий прошло оголтелое лето, вывернулось тревожной осенью. Манифест 17 октября возродил в Федоре старые и даже возжег новые надежды. Он с радостью видел, как общественная жизнь, кипящая негодованием и оттого лишь рвущаяся к разрушительному возмездию, вдруг принялась прибирать себя в устанавливаемых рамках, опираясь на хилые, но все-таки твердые кочки земства, университетских кружков и даже отдельных людей, неведомо где берущих силы, чтобы, не колеблясь, стоять прямо и на месте. Необходимо собрать вместе очень много порочных людей, чтобы стусилась тьма, но достаточно лишь одного честного, чтобы разогнать ее без следа. Так единственная свеча способна осветить самую большую комнату, и даже там, где свет ее слабел и иссякал, она оставалась способна выявить уродливую фигуру старого шкафа. Так Максим Горький бросал свой публицистический вызов народной мудрости Толстого в единой с ним вере в то, что изначально был явлен все-таки свет, а не тьма.

Федор, радостный и возбужденный, звонил Улиссе, чтобы признаться ей, с удовольствием покаяться в том, что, возможно, был неправ. И даже посмеялся над тем, что так скоро продал свой дом и теперь вынужден снимать квартиру. Но Улисса, напротив, увидела в последствиях манифеста новый рецидив хаоса, еще более жуткий. Улисса материнским чутьем приняла восторг Федора, соглашалась с ним, избегая споров через тысячу верст, но была нахмурена и кусала губы, вспоминая его слова о грядущем разрушении. Она вспоминала очерки Лаврентьева, написанные после убийства императора Александра, когда народовольцы собственными руками в самом невинном трепетном зародыше уничтожили Конституцию. «В духовном тулове разверзся разлом, из которого с гулом и треском взметнулись ледяной вихрь и адское пламя — нечто чужеродное, волевое и требовательное с безжалостной определенностью выпросталось из открытой раны».

Улисса теперь воочию видела этот разлом, который угрожал разделить не только прошлое и будущее, но и их самих друг от друга и каждого из них внутри. В звонке Федора из неторопливого Нижнего, из края сытой и спокойной провинции, она расслышала добродушное стремление к умиротворению. Надежда, которой лучился Федор, была об установлении порядка как условия покоя. Но здесь, в энергичной столице, где металл прорастает в камне, бесконечно пробуя свою силу, любой установленный порядок воспринимался как ограничение и постоянно оспаривался, призыв к умиротворению воспринимался как слабость. Улисса видела, как блестящая столица, мнящая себя путеводителем, брезгуя бескрайним морем невежества своей страны, олицетворяла ту самую войну, от которой отвращала светом образования и практичности, а дикое поле, погрязшее в пьянстве, прозябающее в предрассудках и примитивных инстинктах, оказывалось опорой мира. Русский уроборос вертелся вокруг неведомой оси так, что ни в какой момент нельзя было уже определить, где здесь голова его, а где хвост. Что тьма и что свеча, зажженная во тьме.

Как это выдержать? Глядя на себя с Федором, удерживая его и придерживаясь за него, Улисса понимала, что лучшее, самое большое достижение здесь — это прожить по минутке целую жизнь. С началом

декабрьской забастовки Улисса уехала в Москву – она должна была видеть происходящее собственными глазами.

На всем протяжении Николаевской дороги стояли войска. Губернатор ввел чрезвычайное положение, но город ликовал и бесновался. Тут и там нелепые смерти, но горожане бодры и веселы. Шумят митинги, кружатся слухи, гимназисты рассуждают о том, что полицию необходимо разоружить. Вот уже взрывы, в Москве пальба из пушек, но толпа, шастающие по всему городу толпы людей все многочисленнее, воодушевление возрастает в экстаз и запирает улицы баррикадами. Улисса застигнута врасплох у Хамовнической заставы, едва выбралась из-под обстрела. Случайный извозчик провез лишь полдороги, до гостиницы добиралась пешком – лавки заперты, брошены корзины, из-за угла выбежал человек с револьвером и тут же скрылся в переулке, с посвистом пролетели казаки. Ей пришлось стучать в дверь, чтобы пустили, долго стучать, пока изнутри не выглянули в окно, разглядеть, кто пришел. Хозяин советовал не выходить, а лучше уезжать. Но Улисса осталась. Когда прибыли семеновцы, стало тише, она решилась съездить со знакомым Федора на Пресню.

Щербатая гора ломаной мебели, укрепленная наброшенными воротами и мешками с землей, сорванный с одной стороны транспарант косо свисает, слабо дует на ветру и уже затоптан с другого конца. Вокруг десятка два молодых мужчин с колкими взглядами – они постоянно перемещаются, окриками друг друга, словно не находят места, хотя побежать, но не знают куда, и спрашивают, может быть, кто-нибудь из них знает. Вертят головами, постоянно высматривают опустевшую улицу, пытаясь угадать, с какой стороны баррикады появятся солдаты. В соседних окнах, как в гнездах, – дозорные. Улисса стояла у выступа стены, впитывая обостренным сейчас чувством все краски стылого декабря, в беспорядке перечеркнутого напряженными линиями. Всё вокруг – тяжелые дома, предметы и люди – было словно вытравлено, возбуждено чем-то ядовитым на ровной плоской поверхности серого дня. Особенно ясно проявлялись фигуры людей – один сидит, опершись спиной на стену дома, курит в кулак, второй вскочил на пивную бочку, тянет шею, что-то выглядывая вдаль, третий, стащив шапку, чешет голову, а этот спокоен – стоит, расставив ноги, проверяет, полон ли барабан револьвера, еще двое разговаривают в стороне, постоянно кто-то шмыгает во двор, кто-то обратно, тащат и тащат какие-то вещи, все плотнее устанавливая их общую кучу. Парень в заячьей шапке катит вихлястую тележку, нагруженную булыжниками, другой семенит рядом, согнувшись и придерживая тележку, когда та прыгает на выбоинах мостовой; его сапоги велики ему – звонко шлепают подошвами.

Вот прибежал один суетный, с подозрением оглядел УлиССу, но знакомый Федора, который и привел ее, сказал, что, мол, своя, и тот махнул рукой. Он достал из-за пазухи какую-то бумагу и, привлекая общее внимание, стал громко читать. То был приказ боевого комитета, как все уже здесь понимали, совершенно к этому времени бесполезный. Но никто еще не уходил с баррикад, перекликаясь друг с другом. Вот из окна крикнули: «Идут!» Пovyглядывали наружу – на улице метрах в ста явилась семеновская цепь, с ними пушка. «Надо бы уходить, Улисса, – сказал знакомый Федора. – Сейчас будет жарко».

– Ах ты, черт! – вдруг выкрикнул один, с виду студент, поправил на голове картуз и начал перелезать через баррикаду, проваливаясь ногами и со злостью отбрасывая мешающую мебель.

– Изменник! – крикнул человек с приказом, выхватывая пистолет.

– Да погоди ты, – остановил другой, твердо удерживая его руку. – Артем, ты что удумал? – крикнул, обращаясь к студенту.

– Сейчас. Может быть, получится. Свои же, мать его! – откликнулся тот с той уж стороны и быстро пошел к цепи.

Офицер приказал изготавиться, солдаты вскинули винтовки, студент остановился, подняв руки.

– Братцы! Ну что вы делаете! – крикнул студент. – Мы же за вас, мы же за общее. Хватит пальбы!

Слышно было, что он кричит с той улыбкой, которая бывает лишь сквозь слезы, как выражение последней степени отчаяния. И сам наверняка не верил, что сможет просто так уйти отсюда, знал, что все имена известны, что жандармы уже поджидают его дома, что окрестные улицы оцеплены. Но вот кричал, потому что нужно что-то делать в эту минуту, нужно хотя бы надеяться в последнюю минуту.

На улице позади семеновцев показались черные казаки, один из них так быстро выскочил из-за угла, что едва смог развернуть на ходу свою разгоряченную лошадь. Та запетляла ногами, приседала задом, путалась с галопа на рысь. Но казак рвал ее, выскочил вперед и сквозь расступившуюся цепь солдат ринулся на студента, вытягивая на ходу шашку из ножен, словно тащил кишки из освежеванной туши. Улисса сама не заметила, как оказалась на баррикаде вместе со всеми, крепко сжимая чью-то руку – ей было страшно, и она во все глаза смотрела на то, что происходило перед ней в эту неостановимую минуту. Движение шашки, плавное, с летящим махом вверх, а затем хлесткой петлей, обратно, с оттяжкой вниз, она запомнит на всю свою жизнь, как грациозное па красавицы Насти. Казак вскинулся на стремянах, согнулся в поясе и с прямой спиной, глядя исподлобья вперед, словно хищная птица, резко ударил саблей и на отлете отнес руку назад. Студент упал, и было видно, как стремительно росла под ним, прожигая утоптаный снег, лужа крови.

Кто-то выстрелил, потом еще и еще. Казачья лошадь на скаку подломила передние ноги, занесла, заскользив, зад на бок и тяжело опрокинулась через голову. Наездник сорвался вперед и наверняка вломился бы в кучу баррикадной рухляди, если б не зацепился шпорой в стремяни, – дернулся в неловком полете, рухнул наземь, и умирающая лошадь придавила его задней ногой. Казака разорвали здесь же, руками, пока семеновцы бежали, беспорядочно стреляя на ходу. Убили многократно, несколько человек разом, кромсая его тело и обливаясь бьющей во все стороны кровью. Кто-то упал подстреленный, кто-то метнулся обратно, волоча кровавый след. Пальба со всех сторон. В облаке кислого порохового дыма мечутся люди. И все одновременно кричат.

Улисса уже убегала через двор, едва удерживая зашедшееся сердце. Во всех преследовавших ее криках она слышала то же самое, что кричала и душа ее, – надрывное «Боже мой!», в котором и удивление разрушаемого сознания человека, и страх загнанного животного. Словно все участники кровавой нелепицы, совместно ими совершаемой, видели и осознавали, как легко собственными руками они преодолевают священный предел жизни, по вздорному произволу, почти случайно разрушают невосстановимую более границу допустимого и невозможного. Теперь уже возможно всё, ужасалась Улисса. Картины дня мешались в ее голове, тяжело слипались увиденной кровью и словно топили ее – казалось, что подминаются ноги или проминается под ней земля;

в глазах все зыбко и клонится, сходится над головой, а внизу, напротив, раздается в стороны так, что не удержаться. Не за что удерживаться. Улисса боялась, что вот сейчас потеряет сознание, встряхивала головой, била себя по щекам, откашливая приступы тошноты.

Вырвалась на какой-то угол. И внезапно перед ней вздыбилась лошадь, чуть было не сбила ее, перебирая в воздухе вздернутыми жилистыми ногами. Улисса ахнула, отпрянула назад, не сразу заметила занесенную над ней плеть. Но рука замерла и опустилась – казак в кубанке, в скосившемся набок развязанным башлыке, в черной шинели, с винтовкой за спиной, строго смотрел на нее. В первую минуту ей показалось, что это тот же, растерзанный на баррикадах, вот сейчас опять перед ней, осязаемый, словно живой. Его убитая лошадь трясет головой, жуя удила, и рвется, дергается ногами, кружит на месте в строгих поводьях. Влитой на ее спине казак не спускает с Улиussy глаз.

– Как вы здесь, барышня? – хриплым спокойным голосом сказал казак, вытянув неровным выдохом последний звук.

– Ужас, ужас... Потерялась, – Улисса не узнала свой голос, облизывала и кусала пересохшие губы. – Я художник, хотела увидеть, – добавила она с той же нелепой усмешкой последней степени отчаяния, с которой кричал студент.

Ей привиделся гриф, который над ней, словно над трупом, склонил голову, тянет змееподобную оголенную шею; нос-клюв целится в разверстую рану. Казак наклонился к ней, едва не сполз на бок лошади, уперевшись ногой в стремя, крепко обхватил рукой и рывком всего тела вернулся в седло, усадив Улиussy перед собой.

– Кажись, увидели, – усмехнулся он с ядовитой злобой, выдыхая последний звук перегаром в самое ее лицо. – Вывезу вас на Садовую.

Она заметила его близкий взгляд, заметила сальное движение его губ, но в жестком кольце его рук, держащих поводья, почувствовала себя в безопасности. Лошадь пошла шагом. Встреченные в оцеплении солдаты, заметив женщину в седле казака, заголосили шутками, что, мол, мы – за царя, а казак – непременно за трофей, что вот и кончилась его боевая смена, а там – хоть трава не расти, что ему осторожнее стоит быть, чтоб не заразиться от нее социализмом.

– Ну, будет языками чесать, – гаркнул казак, угрожающе взмахнув нагайкой.

Действительно вывез на Садовую, к самой Тверской. Ссадил Улиussy с лошади и, медленно проговорив «Не попадайся мне больше», рванул лошадь и поскакал обратно.

Как только пришла в себя, еще по дороге к гостинице, Улисса решила уезжать из России. Хотела позвонить, дать Федору телеграмму, немедленно сообщить ему, что нужно уезжать скорее, еще скорее, чем в марте. Этим намерением, самым собой родившемся вдруг в ней, она и вернулась в сознание, вновь восстановив в себе чувства пространства и времени, ощутив жажду и зуд немедленных скорейших действий. Но затем собралась поехать к родителям, к маме и отцу, объясниться с ними, наконец, и тем уж попрощаться. Решила, что будет правильнее и Федору сообщить о своем согласии на отъезд при личной встрече в Нижнем, так, чтобы они могли видеть глаза друг друга и избежать недоразумений. Но все дороги, кроме Николаевской, стояли, и на следующий день Улисса выехала в Петербург, теперь уж рассудив, что позвонить она сможет и оттуда; Улисса не помнила, говорила ли она Федору, что будет в эти дни в Москве, и не знала, что сейчас происходит в Нижнем.

Уже в вагоне, непривычно набитом людьми так, что сидели на тюках и чемоданах в проходах, успокоившись после очередного кровавого потрясения, Улисса нашла себя в совершенном одиночестве. Что остается, кроме него, когда незыблемые, казалось, пределы не только преодолены неким исключительным событием, не только разрушены злой, упорной и сосредоточенной силой, но словно бы и не существовали вовсе никогда. Массы людей, уже совершенно буднично, не только уж заступают незримую границу, но запросто ходят туда-сюда, вовсе ее не замечая. Где здесь сон, а где явь? Что из того, что видела Улисса, на самом деле не существует?

Теперь ей казалось, что она и всегда была одинока, а редкие всполохи счастья, подобные брызгам солнечного света на лесной опушке, которые, она думала, способны при особых обстоятельствах разрастаться и сливаться в широкие пятна, были лишь нелепой надеждой. То было лишь желание счастья, несбыточное с той самой минуты, как только задумываешься о нем. И что это такое вообще? Улисса не могла вспомнить и понять не могла. Внутренне пожалела, что некто и некогда выдумал легенду о счастье, как опиумном дурмане, с неясной, а возможно, и зловредной целью. Как когда-то выдумали романтическую любовь – выдумали и все лишь окончательно запутали.

Улиссе было так тяжело, она так жалела себя, ни в чем не повинную, что хотела просто вернуться, не зная куда, но идти по знакомой дороге. «Мама!» – восклицала она про себя, одинокая среди чужих людей, не уверенная в том, что не кричит сейчас в голос. Она спасалась мыслью о том, что и другие люди бесприютно одиноки, как и она сама, что только это одиночество и роднит их, объединяет, единственно оно и избавляет от чужеродной враждебности. И Улисса стала с интересом вглядываться в лица окружающих ее людей – как они справляются со своей тоской. Ее жизнерадостная матушка, к которой она сейчас тянулась, как к Богу, которая ведь все еще могла, как в детстве, обнять свою бедную девочку целиком, спрятать ее в своих юбках, – как она справляется с выпавшей на ее долю тоской? Или добродушно-строгий отец...

И вдруг ей стало стыдно. Улисса вспомнила, как преодолевала она в себе и маму, и отца, как оспаривала их и от них, взрослея, отталкивалась. Дай бог им разобраться с собой, но уж никогда теперь не с ней, так далеко и не знавшей куда отошедшей. «И что теперь? Как быть теперь, когда я действительно понимаю одиночество – единственно настоящее. Как и единственно человек. Все прочее – цветная иллюзия, приготовляемая к чему-то палитра», – думала она. Лишь Федор теперь оставался у нее. Вместо слез, подкатывавших к горлу и уже крививших ее лицо, она спасалась верой в то, что этот другой человек все-таки принимает ее, что он родной человек, что он – почти она сама. Или она сама будет им, если нужно. Лишь бы вернуться на знакомую дорогу.

Петербург казался напряженно-спокойным. Все было как обычно, но Улисса не хотела никого видеть. Едва вошла в свою дверь, услышала резкое надрывное дребезжанье телефона. Это был он. Федор звонил каждый день и теперь сорвался ей в ухо взвинченным голосом – он и правда не знал, что она была в Москве, и тревожился тем, что несколько дней не отвечала. Улисса съезжилась от его напористого волнения и еще больше от осознания того, что в ее голове уже, видимо, давно все перепутано.

– Все хорошо, обошлось, – почти без сил сказала она, – со мной ничего не случилось.

И в ответ услышала, как он обмяк от ее спокойного голоса.

– Так нельзя, Уля, – проговорил он. – Обещай, что будешь осторожнее. Я всегда должен знать, где ты и что с тобой.

– Хорошо.

– Говорят, там ужас что творилось... – как бы спросил он, видимо удовлетворившись ее ответом и переменяя разговор.

– Да, это так, – и вдруг сказала: – Мы уедем.

Он, будто не расслышав, переспросил.

– Что? Что ты сказала?

– Мы уедем, – повторила. – Как ты хотел, в марте. Или, если возможно, раньше.

И услышала, как он облегченно, радостно выдохнул.

– Вот это здорово! Очень рад слышать. Я очень волновался. Очень.

– Все решено.

– Да, все наконец решено. Я скоро приеду, обсудим детали.

– Приезжай скорее, пожалуйста. Немедленно приезжай.

– Уля, потерпи. Выдержи, Уля!

Она дни напролет не выходила из дому. Навесила дополнительный замок и просила артельщиков вбить в стену запорный крюк; его выковали специально для нее, грубый, в палец толщиной. С тем и заперлась. Пробовала читать, рисовать, но не хотела даже есть. Порой подолгу не могла подняться из постели, наблюдая, как свежеет за окном зимнее утро, как проясняется свет в ее комнате, очерчивает мебель, оставленную на столе посуду, мелкий мусор на паркете, ее руки в складках одеяла. Вот уже Новый год затворил незамеченные двери в Рождество. Нарушенный маршрут – и где теперь ты находишься? Одиночество обволакивает, как черная сырая яма, – здесь нет пути.

Улисса все настойчивее вспоминала Настю, словно бы она горько обидела ее, и та теперь возвращалась назойливым укором неуспокоенной совести – нежная кроткая трепетная девочка в бальном платье. А с ней и все другие недоступные для УлиССы в своей красоте женщины – они словно овеваны были ангелом той самой любви, память которой теперь была сосредоточена и воплощалась единственно в Федоре.

И тот казак, и те баррикадники, разорвавшие его у нее на глазах, – они, словно безвольные, гонимы были ангелом ненависти. Он ведь тоже ангел. И отчего же павший? Быть может, напротив, тот другой, ангел любви – вознесшийся. Разве Бог не вездесущ, не всемогущ для того, чтобы признать и исправить даже собственную уязвимость? Разве Он, карая Содом и Гоморру, уничтожая созданный им мир за глухоту и пороки человеческие потоком собственных слез, не карал и Себя, ветхозаветного, как единственного творца человека? Разве не выявил Он в себе самом напряжением самых сокровенных своих сил чистую и оттого безбрежную любовь как будущее откровение человека? Разве не Он человека тем возродил? Сокровищное чудо Троицы.

Он смотрит на нас и просто любит. Он так мало что нам дал, отправляя в путь. И все из того, что дал, – герметично. Как яйцо. Ангел любви и ангел ненависти – между ними ничего и никого. Только маленькая, словно очень далекая, я. Вождеденное равенство оборачивалось отсутствием. Милый, милый, мой бедный Федор!

В гулкой тишине заснувшего дома грохотом пустых ведер раздался звонок в дверь.